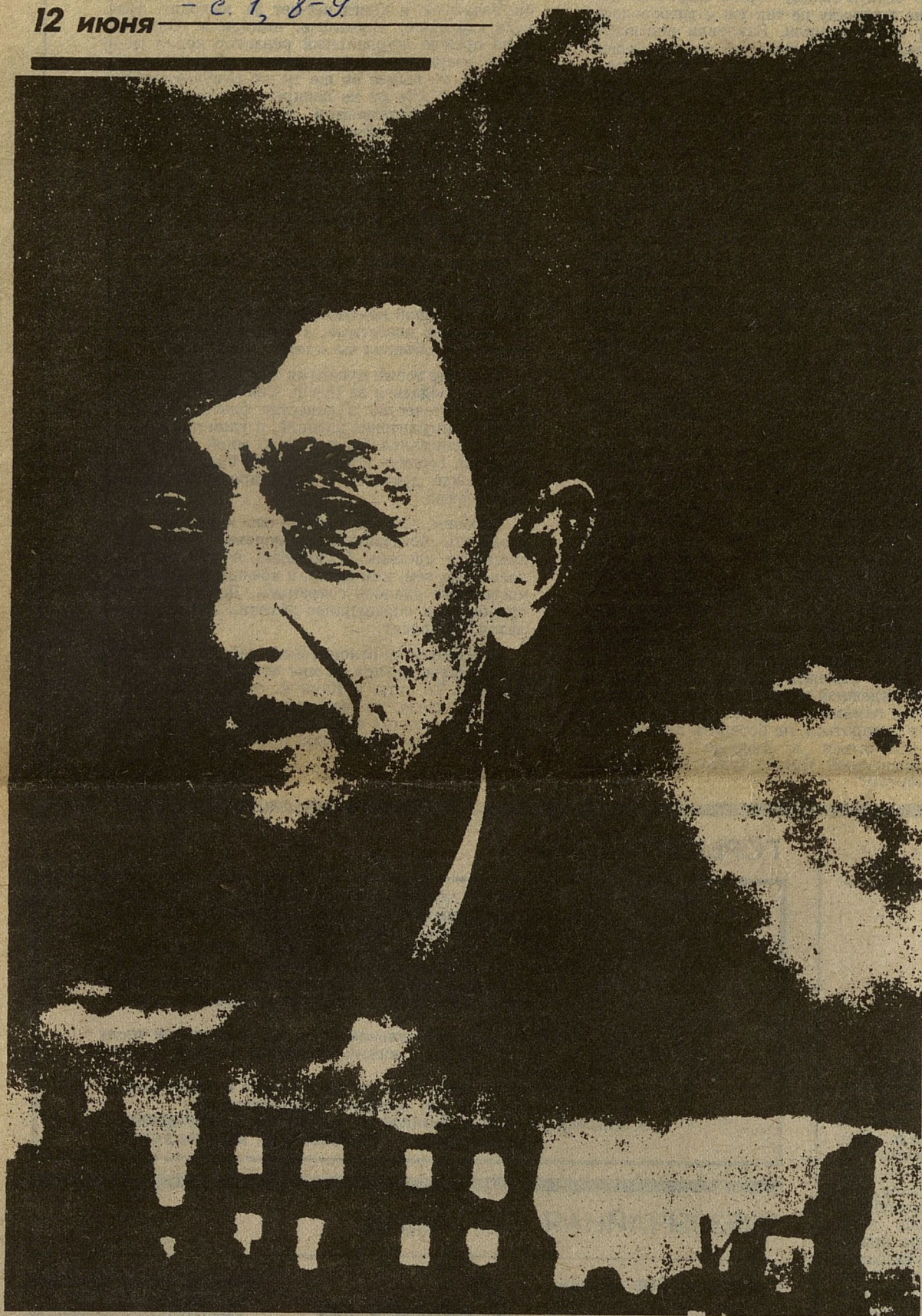


ЭКРАН И СЦЕНА

12 июня

- с. 1, 8-9



Коллаж К. Валова.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

- СНЯТ ПИЛЬНЯК НЕ ПО-ПИЛЬНЯКОВСКИ.** Рецензия Андрея Туркова. 4 страница.
- ЧТО ЖЕ ОНО ТАКОЕ — НАШЕ СЕГОДНЯШНЕЕ ВПИХИВАНИЕ В ОБЩИЙ ЗЕМНОЙ ШАР? ТРАГЕДИЯ? ДРАМА? ФАРС?** О новых фильмах Аркадия Рудермана. 4 страница.
- ОТДАЮ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ ДАРОМ.** 5 страница.
- ЛУЧШИЕ ФОНДЫ В АМЕРИКЕ.** Немного о жизни знаменитой артистической семьи. 12 страница.
- Савелий КРАМАРОВ: «С СОВЕТСКИМ КИНО СОЮЗ ПО РАСЧЕТУ НЕ УДАЕТСЯ — ЛИШЬ ПО ЛЮБВИ».** 16 страница.

17 июня Виктору Платоновичу

Некрасову исполнилось бы 80 лет

БИБЛИОТЕКА ВОСПОМИНАНИЙ

Семен ЛУНГИН

ВСЕ долгие последние годы моей жизни и особенно теперь я постоянно перебираю в памяти все, что связано с Виктором Некрасовым, с первых мгновений знакомства, с самого начала нашей редкостной дружбы, как говорили в доброе старое время, дружбы домами. Я знал его большую половину моей жизни. Наш дом на Калининском стал очень скоро его московским домом. А мы гостевали у них в Пассаже, в Киеве, а потом, после его изгнания, в Париже, на пляс Кеннеди, 3, главным образом, когда его домочадцы бывали в отъезде.

Поэтому пусть никого не удивляет, что я пишу эту историю, употребляя прямую речь, словно бы сочиняя. Мы с Некрасовым столько раз проговаривали ее, как всегда, перебивая друг друга, проигрывали, развлекая наших гостей, а мы очень любили изображать разные сценки и разных людей, и друзья наши могут подтвердить, что я верен здесь не только духу событий, но и их букве.

Нас очень всегда радовал этот наш маленький «театрик для себя» и когда мы валялись дурака, пародируя что-то, и когда в трусах перед большим зеркалом у нас в передней напрягали «ну так не самые могучие мышцы» и втягивали животы, изображая стройных циркачей-силачей. Господи, до чего же нам бывало весело вдвоем и безо всяких «ста грамм»!

Все наши совместные истории от многих повторений становились своего рода «устными рассказами», и сейчас, в горькое время сиротства, когда он покинул нас, я решил вспомнить, как произошло наше знакомство. Все, что тут написано, — правда, и если есть погрешности, то только в том или другом выражении, но не в их смысле.

Итак, мы познакомились в сорок девятом.

По стране, набирая силу, гулял «космополитизм». И меня этот морок тоже захлестнул своей удавкой. Черная волна накатывалась все круче, все шире разливалась и, наконец, добралась до театра Станиславского, где я тогда работал.

Как-то меня вызвали в директорский кабинет и объявили (я ждал этого и все думал, как они мне скажут? А все вышло очень просто), что отныне должность моя упраздняется и я могу убраться на все четыре стороны. И дело тут исключительно в простом сокращении штатов и ни о чем другом я, естественно, не должен думать. Но если я хочу дожидаться лучших времен, хотя они едва ли предвидятся, то меня хоть сейчас могут оформить рабочим сцены, причем не формально, а по существу — устанавливать декорации. Правда, в свободные часы, сверх того — если я готов заниматься текущими делами: вводить новых исполнителей на роли, следить за состоянием спектаклей и прочее, — то в такой подобной режиссуре мне отказа не будет, конечно, не афишируя это, и без дополнительной оплаты. Короче, в профессиональном значении жизнь моя становилась вполне бессмысленной.

Вот как раз в эти-то дни я и познакомился с Виктором Платоновичем.

Однажды в расписании объявили, что тогда-то с 15 до 17.30 состоится читка новой пьесы «Опасный путь» лауреата Сталинской премии Виктора Некрасова. Читает автор. Это было новое имя. В среде драматургов я о нем еще не слышал и ничего из созданного им не читал.

Мы закончили репетицию ровно в три и поднялись в верхнее фойе. Там уже собралось много народа.

Все с любопытством поглядывали на автора, очень (во всяком случае на первый взгляд) молодежавшего человека, который в это время как раз снимал пиджачок и аккуратно укладывал его на спинке стула.

Из актерских негромких разговоров я узнал, что кое-кто из старых студийцев еще довоенного «разлива» его помнит. Он, вроде бы, приходил на Леонтьевский прослушиваться к Станиславскому, но не прошел. И еще говорили, что он будто бы последний, кого Константин Сергеевич экзаменовал лично.

«Старики» стали ему кивать, как знакомому. Он отвечал на кивки, словно тоже кого-то вспоминая. Во всяком случае, в его колющих глазах вдруг вспыхнул какой-то «узнавательный» огонек.

— Вы сами объявите, — осведомилась директриса и, справившись по бумажке, добавила: — Виктор Платонович?

(Окончание на 8—9-й стр.).

Некрасов в Пассаже

12.06.91

29

Семен ЛУНГИН

ТЕНИ НА АСФАЛЬТЕ



(Окончание. Начало на 1-й стр.).

— Сам... Спасибо, сам... весьма деликатно, но определенно сказал он, растегивая третью пуговку клетчатой кофайки. И теперь его загорелая грудь была видна чуть ли не до пупа. Чуть-чуть присыпавшая на «се», он стал говорить о том, что пьеса это лежала в ящиках МХАТа лет сто, слышишь больше. Ее улушвали, шлифовали, насловали все, кому не лень, и довели, видимо, — тут он криво усмехнулся в свои тоненькие пикантные ушки, — вот до этого совершенства, — и он поднял папку. Короче, того первого моего варианта, который хотелось бы вам прочитать, здесь нет, есть, правда, дома, в Киеве, но что же знал? Значит, либо отложить, либо читать то, что есть, но за этот текст автор ответа не несет. Как обществу, — он так и сказал: «обществу», — будет угодно.

Обществу было угодно слушать, все сидящие загудели.

А я все еще стоял. Он тоже еще не сел. И помнится, что мы зафиксировали друг друга этими нейтральными взглядами и устали каждый на свой стул.

Во-первых, — как-то торопливо сказал Некрасов и пожал плечами, — тут почему-то написано — «пасный путь», а не «испытанье», как было всегда. Видите, мои испытанья уже начались. Ладно, пошли...

И он принялся читать. Не спеша. Внятно. Вроде бы поставленным голосом, во всяком случае громче, нежели говорил. Он старательно играл за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места. Он читал, часто отрывая глаза от строчек, и проверял, какое впечатление производит его чтение. Я понимал, что этими нехитрыми уловками он рассчитывает вернуть тексту его первоначальный смысл, интонацию и колорит. Выглядел этот «драмкружок» довольно обаятельно, что вполне соответствовало некрасовскому облику, особенно в те миги, когда его брови вдруг лезли на лоб и глаза выражали прямо детское удивление по поводу очередной нелепости в прочитанной им фразе. Как он огорчился, хоть вида и не показывал! Но я отчетливо слышал, как скрежещет его душа от этих извращений и неадекватных обид. Я, пожалуй, никогда потом не видел у него такого расстроенного взгляда. У него всегда хватало юмора одолеть всякую гадость.

— Почему ты не бросил читать? — спросил я его уже много лет спустя.

— А! — с нарочитой киевской ужимкой выдохнул Некрасов и махнул рукой.

...Наконец добрался он до конца пьесы, с чувством, близким к отвращению, захлопнул папку и тщательно завязал тесемку. Раздались традиционные бессмысленные аплодисменты, на которые появились директриса.

— Ну, что желает выступить? — бодро воскликнула она на ходу.

Началась обычная вялая толковня со всеми полагающимися словесными атрибутами. Дошла очередь до меня.

Мне пьеса не понравилась. Мне показалось, что все в ней очень задано, что заранее предвидится конец, что, кроме постановки вопроса, в ней нет ничего неожиданного, но что этого и самого по себе было немало, если бы... Короче, пьеса, на мой взгляд, требовала усилий не столько редакционных, сколько композиционных, конструктивных. Не пойму, но что-то меня злило в этой пьесе, и если бы я не думал, что карьера рабочего scenery от меня все-таки не уйдет даже в самые распрямленные политические времена, то я бы и не стал выступать, да и автор, как теперь говорят, мне не показалось, что то, что слышалось в его подчеркнуто-киевской манере говорить, да к тому же растегнутая до ремня рубашка и густая грива черных волос, как бы накинута на пока что морщинистый лоб, тоже не радовали глаз. Заданый перерезать пацан с днепропетровского пива в нем было не по мне, да и то под закатанным по локоть рукавом виднелся глубокий рубец — след от, видимо, укуса ранения. Вроде бы в доказательство чего-то, что и без того известно. В общем, не понравился он, и все тут. Я поднялся и сказал, что мне, к сожалению, не близок такой тип драматургии, что я предпочитаю пьесы, где меньше «быта» и «тенушки» разговоров и что мне всегда бы хотелось подглядывать жизни персонажей, так сказать, сквозь замочную скважину — эту фразу он никогда не мог мне простить и даже много лет спустя по всякому поводу говорил, «так как же, через замочную скважину, а вот!», ну и так далее...

Его лицо, и так темное от загара, потемнело еще больше, стало злым. Когда на словах наткнулся, но он ничего не сказал в ответ, только поглядывал на меня с неприязнью, учтиво поклонился всем, благодаря за обсуждение, и ушел в сопровождении директрисы.

На этом, собственно, и могла бы закончиться эта история, если бы не одно абсолютное непредвиденное обстоятельство.

Через какое-то время меня вызвали в дирекцию и сказали, что возникла необходимость чуть ли не с завтрашнего дня начать работу с актерами над новой пьесой «Пасный путь». Подписывать афишу будет тогдашний начальник управления театров, он же и выпустит спектакль как постановщик, а всю предварительную работу надлежит проводить мне.

— А контрпропаганда часть?

— Одно другого не касается, — был ответ.

— Но как жек?

— Очень просто, — произнесла директриса жестко. — Не хотите, как хотите. Назначили другого, кого-нибудь из артистов, только и всего.

Естественно, я сказал я, — А то, что я так поливал пьесу?

— Значит, вы знаете ее изнутри и можете их исправить.

— Как волк в загоне — куда ни повернешь — смерти.

— Постановщик, — продолжала она, — руководить вами будет импрес, сам начальник управления. Вашу кандидатуру мы уже обговорили с ним, и он дал согласие...

Мало ли как потом повернутся дела... О, констатирую неопровержимые начальственные пути! Откровенно говоря, я тогда даже не мог сосредоточиться, чтобы понять, во благо мне все это или во зло. Ясно было, что меня еще на какое-то время оставят в театре, и я согласился.

Полностью печатается в журнале «Синтаксис».

МНОГО лет спустя, когда я уже стал профессиональным сценаристом, а в студийном коридоре нежданно-негаданно столкнулся нос к носу с юной тогдашней постановщицей. Служи о его крушении уже давно доделали до меня, и я знал, что жизнь его покатилась по печальной колее. В конце концов его наняли консультантом в студийный парткабинет. Выглядел он удручающе изможденным. Видно, какая-то злобная хворь точила его. С тех пор мы частенько встречались на «Мосфильме», и всякий раз он кидался ко мне, как к родному, чуть ли не с объятиями, тормошил меня, тербил, всячески высказывая свое расположение. «А помнишь? А помнишь?» — восклицал он, припоминая какую-нибудь театральную мелочь тех лет.

Уж мне-то не помнить? Я по минутам помнил тот каннибальский, звериный пятидесятый год. А вот помнил ли он, бывший начальник управления, что-либо, кроме всех этих пустяков? Что таилось за его ставшими такими плывущими и тусклыми глазами?

А после того разговора в дирекции был вывешен приказ о начале новой работы над пьесой лауреата Сталинской премии В. Некрасова «Пасный путь». Постановщик импрес. Режиссер — я.

Я пришел домой и в тот же вечер написал в Киев открытку такого содержания:

«Лубокоуважаемый Виктор Платонович!

Воллею случая я назначен режиссером на Вашу пьесу... Благоволиите сообщить, когда Вы предполагаете приехать в Москву и удалить мне некоторое время для работы над текстом. С глубоким уважением и т. д.

Мне кажется, что через неделю, не больше, я вынул из почтового ящика открытку с киевским штампом. Я ее хорошо запомнил — написанную крупными, круглыми буквами, которые я потом узнавал с расстояния в несколько метров:

«Лубокоуважаемый Семен Львович!

Я приеду в Москву tomorrow и буду рад встрече с Вами. Но только не для работы над текстом, который мне осто... Бог с ним! Может, хавит? Уже поработали над ним всласть... С лубокоуважением уважением и т. д.

Ну, подумал я, что будет трудный случай. Но хоть его открытка и обидно-откровенно пародировала мою, которая, по слову сказать, заслуживала этого, но была информативна и, главное, четко определяла наши позиции. Ладно, поглядим.

Как-то рано утром мне позвонили из театра и сказали, что автор приехал и бродит по фойе. Репетиции еще не начались, театр был пуст, только секретарша сидела уже на месте. Я пошел на Сretenку и застался по лестницам — театр же в подвальном помещении — бывшая студия Заваского, Киевчина... Моего автора нигде не было.

— Он небось во дворе, — сказал мне дежурный по-жарный.

Я кинулся во двор.

Некрасов и вправду стоял на залитом асфальтом дворе и курил папиросу, разглядывая отвесную стену многоэтажного дома над театром.

— Здравствуй, Виктор Платонович, — сказал я, задыхаясь от бега.

— Здравствуй, Семен Львович, — сказал он затнущимся «беломором».

Он цепко всматривался в меня, потом ухмыльнулся: — Значит, автор подглядывает жизнь в замочную скважину? А как же увидите настоящую жизнь, если ее вам не показывают? А, хлопчик?

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

— Да, хлопчик? — спросил Некрасов, наклонившись ко мне.

И что-то такое презрительное было в этом «хлопчике». Что-то такое неприязненное. Я никогда потом не слышал, чтобы он и кому-нибудь так обращался. И, откровенно говоря, не мог простить ему этого «хлопчик».

— Пойдемте, — указал я ему на ворота, ведущие на сцену.

Мы прошли через сцену. Посредине горела дежурная лампочка на штативе... В щели дверей сочился в партер тускло-зеленоватый, профильтрованный тьмой фойе и коридоров, откуда-то сверху проникавший в театр уличный свет. Подвальный дух стоял в плохо проветриваемом низком зале.

— Это что, — спросил Некрасов, спрыгивая со сцены в проход, — здесь начинал Заваский? Я же до войны тут... Ну это знаменитое, с Мордавиновым... Тфу, черт, как его? Шоу!

— Да, — сказал я, — «Ученик дьявола».

— Не знаю, — вдруг продолжил он, — понравился бы мне сейчас этот «ученик дьявола». Сомнительно.

— Почему? — спросил я. — Говорят, был блестящий, настоящий театр.

— Игры было много, — он подумал и добавил: — Всякое «фуйин-муйин».

— Вот так у нас и начался разговор, как теперь говорят, «по делу».

А тем временем мы дошли до фойе, в котором обычно репетировали. Оно было наполнено серыми пыльными воздушными, и пылинки явственно стояли в плоских зеленоватых лучах, перерезающих густой, неподвижный воздух.

— Мы что, здесь будем говорить? — спросил Некрасов и почесался.

— Можно замечать свет. Или пойдите в дирекцию. Или туда, где вы читали пьесу.

— Но там же проходной двор. Может быть, пойдём куда-нибудь? — глянул он на меня хитрым глазом.

— А куда?

— На рю де ля Пэ.

— Куда? — переспросил я.

— Моя машинистка там живет и пускает нас с мамой, когда мы приезжаем в Москву. Там и переулочек тихий. Просторный.

— На Арбате? Где диетический магазин? Там я же живу в пяти минутах ходьбы. Угол улицы Чайковского и Кутузовского проспекта.

— Это где курортология?

— Все знает! — засмеялся я. — Как раз напротив.

— Туда моих друзей пацан в садик ходит. Пошли?

— Но мне? — спросил я, не уверенный, что у нас дома все в порядке.

— А куда же?

— И мы пошли.

В те годы многое случалось гораздо проще, чем теперь. А может быть, так кажется? Нет, на самом деле. Ну, скажем, пивные. Они были прямо-таки за каждым углом и безо всякой толчи и скандалов. «Полторка с прицепом» — это из тех времен, а означало, для несведущих, сто пятьдесят граммов — полторка и кружка пива — прицеп. Мы уже прошли было мимо одной такой забегаловки, как Виктор Платонович остановился, весьма лукаво, иначе не назывался, поглядывал на меня — о, этот взгляд сопровождал меня все почти сорок лет нашей дружбы! — и кинулся в сторону пивнушки. Я повернулся кру-гом и послушно пошел след за ним.

Сказочный запах разливаемого московского пива, который я уже так долго не вдыхал. Мы взяли всего по пятьдесят граммов и по кружечке.

— Дурная была идея разговаривать у вашей директрисы, — сказал он. — Только это и хотелось! Скажи, как, всегда приходит к голове такие правильные мысли? — Он взял граненый стаканчик. — Ну давайте знакомиться, — сказал он, — Вика...

— Сима, — сказал я.

— Это что же, от Симон?

— Нет, Семен. Моя нянька помещена на Серафиме Саровском. И так все привыкли. Скажите, как вы вытерпели всю эту мхатовскую волюнку?

— Во-первых, из почтения. По этим коридорам... На этих стенах... Объектив фотоаппарата глядел на того, кого снимал, — вот его портрет. Шутка сказать! Потом Павел Александрович Марков. Любознательные разговоры за жизнь. Не угодно ли стаканчик чаю? Еда! Я этот чаек Борис Ильич Вершилов. Я обнаружил вас в «Окопах Сталинграда», как в свое время «Дик Турбин» в «Белой гвардии...» солидно... Все несладко... А во-вторых, — горделиво Гордыня одолевала — лучший театр должен ставить лучшего писателя. А как же! Разве не так? Всем ли вы довольны? Все ли у вас в порядке? Сердечный привет вашим домашним. Надеюсь, все в добром здравии? Мы вам тут же пошлем телеграмму.

Изображая мхатовских мастеров, он изгибался в талии, шаркал ножкой, говорил медовым голосом, все это поддельно очень смешно, не обращая внимания, что на него смотрят столичные близости и хохочут так же, как и я. А я так просто заходил от смеха. Это было как раз то самое, что я любил, да и теперь люблю больше всего на свете, — такую роскошную импровизацию! Мы допили пиво и двинулись дальше к Среднему воротам, чтобы потом, пройдя по Лубянке, войти в метро «Дзержинская» и ехать к нам. Но тут, как раз за углом какого-то переулка, появилась новал «забегаловка» — дощатое строение, по периметру стен которого изнутри шла полочка из кружек, полных и пустых. Мы взяли по кружечке и только устроились, стоя друг против друга, подняли их к губам, как вдруг, некто, тоже стоящий с кружкой в руке и, как я заметил, не спускавший с Некрасова глаз, тронул меня за плечо.

— Отойдем, кореш, — сказал он тихо и отвел меня на несколько шагов в сторону. — Это писатель с тобой!

Я кинулся.

— Который в окопах Сталинграда?

Я снова кинулся. И спросил:

— А откуда вы его знаете?

— В газете снимок видел. Я его по усам узнал.

— По усам только товарища Сталина узнают, — сказал Некрасов, подходя к нам. — Не помешало?

— Вот товарищ узнал вас по газете, — сказал я.

— Где воевал? — деловито спросил Некрасов.

— Третий Украинский, — ответил незнакомец. — Очень рад, что тебя увидел. Ну, я пошел, — авторопился он. — Желаю успехов. Слушай, а капитан этот... как его?

— Керженцев?

— Это ты?

— Более ни менее.

— Я так и подумал. Жалко, что не вместе воевали.

— Но ты же на Третьем Украинском.

— Вот я и говорю — жалко. Ну здравия желаю.

— Э-э-э! — воскликнул Некрасов. — Куда? А свои: сто грамм! Пойди возьми, — и протянул мне десертку.

Он впервые обратился ко мне на «ты».

— У меня есть.

— Делайте, что говорят, — приказал он непрерываемо.

— Так точно! — сказал я, подхватывая игру.

Когда я принес от стойки три граненых стакана, обхватив их двумя ладонями, и поставил на мокрую от пивной пены полку, они о чем-то увлеченно говорили.

— И у меня локтевой сустав разбит, — сказал новый знакомый. — Видишь, не сбывается. Кон-трак-тура. Мне было приказано разрабатывать, а я думаю: хрен с ней, — и он махнул спиной левой рукой. — На мой век хватит. У меня же пулевое сквозное, в левом дырка.

— И зря. Я разрабатывал, — сказал Некрасов. — Мне велели делать мелкие-мелкие движения пальцами все время, пока не сплю, делать мелкие движения. Вот я и стал писать, в госпитале, лежа, карандашом. Ну давай-те со знакомством. Ты кто? Майор?

— Капитан.

— И я капитан. Будь здоров, капитан. Я очень рад, что мы пострелялись.

— Вы уж простите, что я в вашу компанию...

— Не свисти, капитан. Ну давай!

Мы, запрокинув головы, выпили до дна. Потом он попросился и ушел.

— Бывает же такое? — сказал Некрасов, он был явно доволен. — Слушайте, Сима, пошли еще в какую-нибудь тошноту, — вдруг еще кого-нибудь встретим.

Хотите верить, хотите нет, но все было так.

Знаете, эта сцена, как из пьесы Арбузова, — сказал я.

— Это — жизнь, молодой человек, словно сквозь замочную скважину...

— Да будет так, — сказал я, и мы вышли на улицу. — Забудьте.

Мы деловито шли по Лубянке, мимо «Стрелы» — закрытого распределителя НКВД, мимо московского управления в прекрасном особняке, за фигурным забором, хотели было свернуть на Кузнецкий, но двинулись к метро. «Детского мира» еще не было, был еще Лубянский пассаж, и отличный ресторанчик в подвале, на углу Рождественки. Туда мы не пошли, а перебежали на другую сторону, к метро «Дзержинская». Там, в угловом доме, тогда был продовольственный магазин. Мы переглянулись и вошли.

Боже, как иногда ярко запоминаются отдельные, вроде бы несущественные сценки многолетней давности. И терпеть не могу споровочения как сейчас помню, но, а действительно сейчас вспомнил, как он сказал: «Можно, а куплю пол-литра? Как я пошел в карман.

Он промолчал. «Разрешите, я приду в ваш дом с бутылкой? Как я в ответ сказал: «Тогда я куплю закусок». Как он кинулся и показал на окно: «Встречаемся тут»...

Мы вышли из магазина и двинулись к метро. Солнце было нам в спину, и на тротуаре четкими следами чернели наши тени. Две, примерно одного роста. И я подумал: вот мы идем вдвоем, как шли, наверно, Станиславский и Немирович-Данченко, как раз оттуда, из «Славянского базара», после того исторического разговора. И так же их тени рисовались на тротуаре, только одна высокая, а другая сильно поуже, тоже в шпальте. А у нас не было шпальт, и ветер, задувавший вдоль Никольской, вздыбливал наши волосы, и на черных тенях было видно, как поднимаются черные прядки.

Домо никого не было.

Здорово, что мы пошли на из рю де ля Пэ, а сюда. Большие бутылки, как-то так это давит, — сказал он.

Мы поставили бутылки, их оказалось две, я принес тарелки, разложил колбасу и свежий хлеб.

Отличный батончик, — сказал он, помял горбушку.

Откупорили одну. Я достал из буфета хрустальные рюмки. Он взял одну и другую — дызы!

— Льем в фанкильные хрустали, — сказал он. — Ну, Сима, знаешь, какое-то время мы будем существовать, если не вместе, то рядом. А?

— Да, — сказал я, — если только меня не выпрут до этого «какого-то времени».

И я рассказал ему про мой дела.

Он почесал, как тогда на обсуждении пьесы после моего выступления.

— Ну, что за тра-та-та-та! — воскликнул он. — Что за мерзость! Звеве он не любит, сволочи! Что вы им все глаза мозолите? Давайте...

Мы выпили по первой. Потом я стал рассказывать ему про пьесу. Как, по-моему, надо ее ставить. Какое оформление. Что сперва было бы утончить, что убрать. Фантазия моя включилась, я почувствовал себя свободным, особенно подхлестнул меня удивленно-заинтересованный взгляд, которым он на меня смотрел. Я вспоминаю эти минуты, как один из счастливых в моей жизни. Стали говорить о том, про что писал. И тут вдруг словно с цепи сорвались и начали говорить, да что говорить — орать о нашей жизни, о том, что творится в стране. Мы кричали, не закрывая рта, перебивая друг друга, о том, как все это ужасно и с еврейми, и с немцами Поволжья, и с крымскими татарами, и про все этот кровавый марш, что творился вокруг. В Киеве какой-то инженер повесился от ужаса, что его сошлют на Колыму, и все его семью с ним, и старую маму. «Откуда вы знаете?» — спросил его накануне смерти. «Ссылались все, кто кончалось», — ответил он, — с ссылами начинается...

— Где Короленко? — закричал вдруг Некрасов. — Где эти благородные русские интеллигенты, которые всегда говорили правду властям в глаза? Малые туссы, почему мы молчим? Неужели нас так запугали, что мы потеряли облик человеческий? Я смолчу, но мама моя не смолчит... Гадый Гадый! — он проназвал «хавды». — Вот уж правда: когда нас в бой пошлет товарищ Сталин... Неважно куда, лишь бы в бой... На ту зверскую старуху, так на старуху — в бой! А несчастный инженер удавился... Какой позор! А ему, — три показав на меня, — эту долбаную «Снегурочку» не дали ставить! Тра-та-та-та!.. Волный русский стих! Короленко на них нег!.. Деградиация воина!.. Ну, я покажу тебе, где Короленко жил... И мы остались вдвоем, договорившись устроить банкет после следующего спектакля.

Мы вышли на улицу, дошли до телеграфа, послать телеграмму в Киев, Зинаиде Николаевне.

— Что написать?

— Что все в порядке.

Я знаю, — сказал он.

И я через его плечо глядел, как он своими крупными, круглыми буквами выводил: «ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА УСПЕХОМ».

Эта фраза стала у нас рабочим термином, и во всяких сомнительных ситуациях он, морщась, говорил: — Ну что, премьеры прошла успехом, а, пада?

И хохотали.

Однажды в Париже, когда я в первый раз туда приехал, Некрасов повел меня в парк Монсури, где он еще в локонах и платьице гулял с мамой и тетей Соней. Я видел эту старую фотографию.

И когда мы переходили улицу, чтобы войти в ворота парка, я увидел на асфальте наши две тени рядом, и по движению плеч было ясно, что мы идем в ногу. Я помню наши тени на тротуарах Контебеля, на шоссе, когда мы гостили у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в Карачарове, в Киеве на Бабын Яр, в Ленинграде на Кировском у «Ленфильма», я приезжал к нему, на съемки «Солдата», в Тулоне, когда выглядалаю солны